

Тамара Корвин

Р А С С К А З Ы

## ПАРАДОКС

Худо человеку, застигнутому врасплох; тяжело разбуженному среди ночи: звонок в темноте поразил его слух, он вскакивает на ноги, парит рукой около телефона, ошибаясь в дальности и направлении, откашливается, чтобы ответить на голос; но это не голос, это вторжение, звонок чужой, а не домашний, — и он бежит к двери, и маску второняк надевает криво, так что прорезь для глаз приходится на ухо. Его разбудила телеграммщица: умер по имени такой-то, — лишь заперев за почтальоншей, он вспомнил, что это его дальний родственник. Ночь не дошла до половины, в его крови было всецельно снотворное: расслабило мускулы, размягчило кости, ноги не держали, не держал позвоночник. Он вернулся в постель и заснул мгновение.

Понутру он поднял с полу телеграмму, попытался представить лицо родственника, с которым не имел ни переписки, ни свиданий: кто там вздумал сюда телеграфировать, зачем не в Париж, не в Лондон, всемирной родне, в подражание старой знати. Пришла весть — и гаснут огни во дворцах, отменены балы и приемы, и где-то в провинции обедневший барон одевает свою челядь в траур и на расспросы отвечает: о да, горестное событие, покойная герцогиня моя троюродная тетунка с материнской стороны, вот портреты предков, трогательные воспоминания... Барон подносит платок к глазам, все кивает соболезнующе, и ни один, конечно, ничего не чувствует. Разыгрывая в воображении эти сцены, он отправился на работу, просидел допоздна и был слегка рассеян. Домой пошел пешком, усталость не проходила; он побродил по комнате, вынул снотворное и лег. Спалось ему плохо: он искал и не находил ошибку в длинном вычислении, забыл коэффициент, хотел достать справочник, но ящик стола оказался заперт, он встал, чтобы пойти к директору инсти-

тута за ключом, но дверь не открывалась, и он дергал ее, холодея и обливаясь потом. Наконец зазвонил будильник, серебристо и нежно, словно пресея прощенья; он встал, умылся; забывшись, долго простоял с полотенцем в руках; очнувшись — времени на завтрак не оставалось. Он поехал в институт. Глядя на привычные лица, он думал: что если б они узнали? — и сбивался в расчетах, а к концу дня не смог решить уравнение с двумя неизвестными. Тогда он встал, нащупал телеграмму в кармане, глянул мельком на свое отражение в оконном стекле и пошел в кабинет директора. "Занят", — сказала секретарша, не отрываясь от книги. "Мне срочно, — отвечал он сурово, — у меня родственник умер." "Ах, боже мой!" — секретарша вскочила и бросилась к двери. Директор был ему приятель, он предвкушал, как сейчас изменится его будничное лицо: увы, видам де Шартри — Какой удар! Он держал на руках меня пятилетнего, а наши деды вместе сражались в Палестине! О море скорби, монсеньер... Дверь распахнулась, директор вышел ему навстречу. "Я должен уехать, — сказал он, — несчастье в семье... смерть брата..." — и вынул телеграмму, но директор на нее и не смотрел: конечно, конечно, поезжай... на неделю, если нужно! — и штыкнул шею, нагнул вперед плечи, всем телом выражая сочувствие брату умершего брата, а тот по всем правилам доиграл сцену: мужественно сжал губы, сдвинул брови и ответил, что в понедельник будет, разумеется, на работе... Ему хотелось расхохотаться; неведомо как весь институт сейчас же узнал новость: в десять минут он перевидал множество масок скорби и сострадания, и злорадовался, втянув их в свою игру. Бинье пережимали, — в театре это называется "грызть кулисы": молоденькая лаборантка опрокинула стул, пылко схватила его руки, даже слезы брызнули из глаз; а те, что не умели, не желали притворяться, шарахались от него как от чумного. Он был всеми ценен за безотказный мозг, он был виртуоз вычислений, соперник компьютера, король капутников, но это был его самый славный час.

Маркиз де Лафайет, прибывший в Рим, остановится у племянницы графини Гвиччарди, в Мадриде — у кузена Медина

Сели, он будет у себя дома в Богемии, в родовом замке среди родных привидений; директор, пенс и сын пня, отец трех изрядно выросших пней, хотел звонить начальнику начальнику аэропорта, телеграммой бронировать гостиницу, — но он никуда не поедет. Сколько он себя помнит — никакой семьи у него не было, и к чему теперь в толпе неведомой родни слушать воспоминания и притворяться, удерживая мускулы лица в должном положении; он никому не даст никак втащить себя в чужую семейную историю. Он их не знал; его жизнь этой смертью не была разрушена. "Скорое постижимо", говорилось в телеграмме, — какой еще удачи пожелаешь человеку? Он взял в магазине еду и сигареты, войдя в квартиру, запер дверь; логика была его звезда и оружие, логику он читал и любил и знал, что неприятные ощущения и даже вглубь проросшие чувства сгорают в ее белом холодном огне, съеживаясь, как паук на свечке. Но теперь было не то; в тишине пустой квартиры он громко произнес:

— Что во мне страдает?

Он снова проверил дверной замок, выключил телефон; на столе были разложены белые листы бумаги и запасные стержни для авторучки. Он сел, подперев голову руками; все, что он знал о страдании, четко локализовалось в висках, в больном зубе, в животе, имело массу, скорость, направление, могло быть настигнуто и схвачено: анальгин, коньяк, слабительное. Он проверил свои пять чувств: ни одно не было оскорблено; и он не чувствовал ни голода, ни жажды. Но что не было чувством — было мыслью: "мысль во мне страдает", написал он на листке и сейчас же исправил, локализуя: "мозг во мне страдает"; увидел внезапно эти слова, изображенные его четким почерком, он испугался. Слова была синоним безумия, он сам себя называл сумасшедшим! Он разорвал листок, скомкал и бросил в пенальницу. Написал на чистом: "что — во мне — страдает?" и задумался: нет ли ошибки? Он несомненно страдал, и так же несомненно источник страдания был где-то в нем самом. Это страдающее "что" он мог бы описать косвенно, — так перс, не называя предмет, перечисляет его свойства; так находят параметры элементарной частицы,

которая невидима, но оставляет след. Итак, не "что", а "где"? "Сердце болит", — сказал он вслух, но не стал писать, а нащупал пульс: сердце билось ровно. Нет, если не к врачу обращены эти слова, они лишь расхожая ложь, бессмыслица. Пульс был даже вялый, словно утомленный, — да ведь ночь на дворе, удивился он, привычное время сна, и какова сила рефлекса: тело томилось, ныла спина, каждый волос на голове хотел покоя. Он вскочил и раздраженно стал ходить из угла в угол; потом вытряхнул пепельницу и снова сел к столу. Как это говорят: "всем сердцем и душой" — а-а, душа! Что ж, на то есть науки, есть специалисты; он слышал, как коллеги толкуют о парапсихологии, но был горд и честен, а честь свою полагал в том, чтобы не притворяться, будто понимаешь то, чего не понимаешь. А если было нечто трансцендентное в его собственной науке, то только на высочайших ее высотах: там обитали Эйнштейн и Ньютон, и туда он благоразумно не совал свой нос. Душа — термин; и если сказано "сердцем и душой", то они не одно и то же; но была ли душа там, где сердце? Говорят еще "одушевленный мысль": была ли душа там, где мозг?

И разум как будто соглашался, что его называли душой и поместили в сердце, — но сердце не хотело: оно стучало в костяшки кулака, прижатого к груди, и защищалось от вторжения, от пестоя. Как это говорят — "прибежище страстей"? "противник разума"? Внезапно он покачал сердце — как если бы держал его в руке; но это он сам лежал на чьей-то ладони, теплой и мясистой, лежал на спине как жук, махая лапками в воздухе; вот перевернулся, пополз влево вверх по большому пальцу, отодвинутому от четырех остальных, взобрался на край, задал пустоту внизу, — уже голова кружилась и левые лапки скользили по гладкому ногтю, — вдруг ладонь чуть слабла, образуя перевернутый свод, большой палец медленно согнулся внутрь, — и он пленнулся обратно в уютную круглую ямку, и опять беспомощно болтал лапками, и ощущал на себе взгляд насмешливый и снисходительный. Нельзя спать, за дверь стоит чужой, готовый и собранный, а я, со сна те-



лый, слабый, беззащитный, не могу сопротивляться! Он удержался лбом о стол и проснулся. Была ночь, он встал, пошел в кухню и сунул голову под край; потом сварил кофе и выпил сразу, густой и горячий; обжег рот и горло и почувствовал голод, тоску и жажду, и вспомнил, что есть у него маленькая приятельница, ночует всегда дома, а живет недалеко.

Она и была дома, он пробыл у нее час или два, но не смог забыть, что на столе в его комнате лежит листок с формулой; и она осталась недовольна. Она даже сказала ему об этом вслух, — тогда он, оправдываясь, ответил: "У меня, знаешь, брат умер." Она ахнула, векочила и сейчас же снова села с ним рядом на диване, обняла осторожно, нежно и стала расспрашивать: От чего умер? Старший или младший? Ты мне никогда не говорил, что у тебя есть брат, — он на тебя похож? Женатый, детей много? А как его звали? "Ничего я о нем не знаю", хотел он ответить, но вместо того сказал: "да, скорбь подобна скорпиону..." Брат был историк, изучал быт декабристов в Сибири, сам туда поехал, бросив кафедру в столичном университете; поселился в Нарчинске, нет, даже в Анатуе, отыскивая потерянные следы. От отца брат наследовал ум и могучее сложение, от матери красоту: синие глаза, длинные ресницы. С ним, младшим, брат великодушно играл в детские игры и если дрался — поддавался. В семье хранился прапрадедовский кинжал, по традиции наследуемый старшим сыном, у кинжала своя история, семейное предание, об этом в другой раз, да он и не знает: тайну открывают только наследнику. Три года назад, застигнутый метелью в тайге там, где сливается Шилка с Аргунью, брат этим кинжалом отбил от леоп... Леонардом его звали, покойного брата, в честь Леонардо да Винчи; глядя на него, отец часто повторял с тайной гордостью: "я сердцем материалист, но протестует разум..." И если уж всю правду говорить, отец сам был потомок декабриста: в шкатулке с кинжалом хранились дворянские грамоты времен норманнов, когда те еще плавали из варяг в греки и из грязи в князи... Горела только лампа у дивана, в полуиране ему почудилась тень на стене, за ней другая; комната наполнилась людьми, он больше

не был актером, читающим монолог на пустой сцене: они рас-  
положились как дома, с чем-то судачили оживленно и беззвуч-  
но, ходили, задевая его плечом или именной юбкой; прошла  
старуха в тяжелом черном платье— у нее был его нос, и что  
годилось мужчине, на женском лице казалось сомнительно; вы-  
сокий старик в муцире и треуголке поднял руку— он узнал  
свой привычный жест; а там маленькая маркиза Лафайет на  
блестящий паркет вышла танцевать менуэт, заостренными паль-  
чиками придерживая юбку, и на нее он тоже был похож, как  
грубый глиняный слепок. Он был в толпе родственников—близ-  
ких, средних и дальних, многие оказались попроще, одежда и  
лица провинциально—топорные, но уже он соглашался, призна-  
вал их притязания, приготовился быть учтивым,— а они его  
не замечали. Темно, подумал он, встал и зажег свет— и все  
пропало; он распахнул окно, как всегда делал, приходя к под-  
ружке; она от холода ахнула, но терпела. Ему хотелось  
пить— подружка принесла ледяной боржом или из холодильника.  
"А кому же теперь отдадут кинжал— тебе?" Он закрыл лицо  
руками, и она сказала испуганно: "Ой, прости, я тебе напоми-  
нала! Господи, ведь брат, брат родной..." "Ну и что. Являть-  
ся он нам, что ли, будет. Или и ты стоишь вертись? Я думал,  
только те, что с высшим образованием!" Вдруг он вспомнил,  
что когда у себя на кухне глотал горячий кофе, пальцы в при-  
вычном месте нашли и положили в рот таблетку сильного сно-  
творного: так сколько же часов он борется, одолевая расслаб-  
ление и покой! Он простился с подружкой и поспешил к себе  
с намерением лечь немедленно, и по дороге бормотал: любовь,  
любовь... То, что он думал, он не всегда говорил вслух,—  
зато ни разу не сказал то, чего не думал; и подружка нико-  
гда не слышала от него "люблю". "Любовь волнуется кровь"...  
он вдруг замер посреди улицы— и пустился бегом. Он превра-  
тился в маньяка: не вымылся у себя под душем, как мылся  
обычно возвращаясь, не переоделся, а сразу кинулся к свое-  
му ящику и прочел последнюю фразу. "Душа — ВО МНЕ — стра-  
дает": вот она, ошибка! Во мне! Зарой птицу в песок и вели-  
махать крыльями! "Душа страдает"— прочел он исправленное,  
к нему это уже не относилось, и он написал заново: "Что

страдает?" Нет, не так, еще не то; голова его тяжелела, он испытывал одновременно странное чувство возбужденности и оцепенения. Не спи, не спи, эврика ли, абракадабра, — решение близко! Он схватил чистый лист и написал: "КТО?" И привстал, наклонившись над листком, в последнем напряжении тужась как роженица, онемели пальцы, вцепившиеся в край стола, глаза налились кровью, набухли жилы на шее и на висках, сердце бешено билось — и вдруг вырвалось вон, и он вскрикнул и упал, ослепший и оглушенный.

... "Микроинфаркт, — беззаботно сказал врач, — совсем, совсем маленький, махонький мини-инфаркт, но полегать придется: ногу сломали, не сразу, знаете ли, орастается... в нашем-то с вами возрасте..." Его долго лечили; он просил пить и пил жидко, без конца, будто промывая мозг, — каждую впадину и выпуклость, каждый изгиб и складку. В ту ночь его спасла подруга: он упал так внезапно, что она беспокоилась, добрался ли до дому, и долго звонила из будки. Выключенный телефон не отвечал, она побежала к нему, увидела распахнутую дверь и его, лежащего у стола в неловкой позе. Он был ей благодарен, но по-прежнему не говорил то, что не думал, и никто не рубил ему череп, чтобы прочесть мысли на поверхности мозга, где следы пропадали так быстро, как следы ног на песке, смитые прибоем. Он выдоровел и позабыл обо всем.

---



## НАСЛЕДНИК

Есть длинная тоскливая улица, в конце улицы речка, над речкой дом: здесь умер великий Поэт. Спустя много лет на стене повесили мемориальную доску, и тогда же в близком соседстве поселилась возлюбленная Поэта, — были и другие, но все состарились и умерли, она осталась одна; и с каждым годом увеличивалась в цене, как банковский вклад, на который нарастают проценты. К ней ходили бы исследователи и паломники; может быть, ее ждала национальная слава; но она жила тихо, и ее не нашли. Ее даже не искали: никто не думал, что она жива еще. У старухи был телефон, она позвонила известному литературоведу, — тот не мог понять, с кем говорит; тогда она назвала имя своего Поэта и то имя, которое Он ей дал в стихах; при этом она как-то странно хмыкнула, и собеседник почувствовал ужас, озноб, восторг. Он тотчас пустился в путь, сперва быстро, потом все медленней, и дойдя до последнего поворота, остановился. В шестнадцать лет он сюда шел прочесть свои стихи Поэту, вдруг отчетливо представил, как будет стоять перед Ним — и повернул обратно. "Вот черт, опять не могу, — сказал он себе теперь, — ходил, ходил, и не могу. Ходил, пока никого живого не было!" Он с ненавистью поглядел на знакомую улицу.

Вернувшись домой, он по телефону позвал своего лучшего ученика, которого любил, не видя иного себе преемника; он ждал и старался, как умел, унять волнение. "Завтра с утра на базар, — сказал он ему, — вот вам пятерка, купите розы, красивые розы, как это там, — он процитировал стихи, — одной пятерки мало, возьмите еще. Скажите ей: в неувядаемой прелесть... а старик, мол, заболел, гипертония, насмешка матери над духом, — да, руку, руку поцелуйте, забудете, вы же все увальни, пентехи, я бы сам пошел... Она будет

рассказывать — разиньте уши!" "Да что она помнит, — усомнился аспирант, — ей же лет сто." "Всего девяносто шесть, а будет и двести, она клад, реликвия, а вы наследник. Ах, старая ведьма, однажды в Версале о же де ля рейн, и смешочек такой, то ли крик, то ли хрюк... Жива! Еще жива! Лотта в Веймаре, так ей, наконец, захотелось славы! Пусть путает, пусть сорок бочек арестантов, — вы не слушайте, а вы пейте аромат их века, серебряный, вы же опоздали родиться — вдохните. Я вас не за фактами посылаю, фактов без того много, а наш брат ученый один. Моя школа другая... вам про меня наговорят, такой, мол, и этакий, — и пусть говорят, а толкованье в стихах не липнет, а я стихи тридцать лет спасаю! Сам бы пошел, но жертвую: вы мой наследник. Вы носом, благоговейно... послушайте, милый, вы бы туфли завтра почистили. Да снимите же эту вашу униформу, ну хоть раз, — я вам нормальную штатскую рубашку дам, и брешь, — эх, у вас есть? А галстук? Нет, бабочку не наде бы... Возьмите вот десятку. Едва стих материализуется, по нему начинают бить палкой, я не виноват, я укрывал, и с отвращением читая жизнь мою... послушайте, голубчик, я дерьмо, я промотал, но вы, вы... ваш звездный час, три карты, три карты!..." Он вскрикнул и, закрывая за учеником дверь, перекрестил его спину мелким незаметным крестом.

Сказал бы еще "вот ваш Тулон", думал аспирант; а ничего такого не будет, старушечьи сплетни, благо поправить некому, всех пережила. Он шел с базара, удачно торгуя розами за девять рублей; остаток лежал в кармане, если еще завтра отдадут за уроки, он заплатит квартирной хозяйке, уже намекала, и ему придется намекнуть, как ни противно. Звонок не работал, он постучал в дверь раз, другой, — что она там, оглохла, — и третий посильнее. Уж не умерла ли, ему стало страшно; наконец, дверь открылась. Он протянул руку с розами через порог, — раскрыв объятие, она прижала их к груди и сунула лицо в розы, как в воду; он не мог поцеловать ей руку, обе были заняты. Она повернулась к нему спиной и пошла, шаркая, в темную глубь коридора, — он за ней, непреглаженный; вдруг она исчезла в стене, он испу-

ганно остановился; старуха опять появилась, она несла пузатую стеблинную банку с водой, там были розы. Ее комната была велика ей, как сморщенному ядрышку пустая скорлупа ореха, окна были мутны, на полу и на вещах лежала пыль; старуха была не то сухой ширинши сучок, не то моток ржавой проволоки с колечками, грязно-коричневые волосы, неживые, как парик истрепанной куклы, на нее коричневый лоскут и дальше вниз тряпки того же цвета; подошла прегадкая собачонка, обнюхала его ноги, не злаяла. Старуха поставила банку с розами на стол, посмотрела, хмыкнула, и лишь теперь обратилась к гостю, приглашая его сесть. Он заговорил: как он счастлив видеть ее в добром здравии и неувыдаемой прелести... а каждое ее слово — бесценное свидетельство... а руку опять не поцеловал, момент был упущен.

— Что слова. Вам мои слова не годятся, глядишь, лучше было, пока мы пошмаливали, а то рты раскрыли — такое пошло вранье, вроде моей неувыдаемой прелести... да ладно, не краснейте, впрочем, и то слава богу. Розы чудо как хороши! Я, мой друг, скоро умереть намерена; родня будет в бумагах рыться, автографы продавать, — с нас деньги взять не грех, да не хочу, чтобы им досталось. Лучше так берите, — старуха сунула руку в тряпки на груди: аспирант все время ощущал этот резкий запах, но его заглушали розы, а сейчас она, согнувшись над столом, прямо к его носу поднесла маленький пухлый сверток, — он невольно отпрянул и прикинулся рукой. Она, неверно поняв его жест, свою руку отдернула и сказала:

— Нет, нет, не хватайте, я жива еще, я хозяйка! Еще передумав. Делайте опись, фотографии, — что там у вас полагается? Вот тут пятнадцать писем, — она размотала тряпицу, он старался не дышать, — записка, стихи...

Если она не хочет выпускать автографы из рук, сказал аспирант, то не поедет ли с ним в Институт, где специалисты сделают копии; можно взять такси, — ему так не терпелось уйти, что он встал и искал глазами телефон, — но старуха сказала:

— Нет. Не сегодня.

Он посмотрел на дверь и сказал, что это будет очень, очень ценный дар, сейчас готовят новое издание — академическое, с подробным комментарием...

— Знаю, видела, как Он у вас под конвоем ходит. Спереди предисловие, сзади послесловие, справа сноски, слева скобки!

Но это любовь к поэтическому наследию, возразил аспирант, ученые трудятся и спорят над каждой строчкой, ищут подлинный смысл, духовные глубины, пророческий подтекст; у поэзии свои законы, массовый читатель попросту ничего не поймет без объяснений, ведь поэтический символ не в бытовой реальности живет, а внутри собственной культурно-исторической традиции: гибельная страсть, например, или Шаги Командора, — условности, которые нельзя же понимать буквально... Он наклонился погладить собачку, пожелтевшую от старости; та тихонько зарычала.

— Мы такие, — сказала хозяйка, — не кусаемся, но и трогать нас не надо. Значит, условности?... — И, выпуская его, добавила: — Дня через три придите...

Аспирант перевел дух; на улице его ослепило солнце. Он шел и злился: расхвасталась, воображает, будто она та самая, из стихов! Да никогда она ею не была. С ней Гений сошелся на неделю, посвятил, напечатал, получил гонорар, и жена что-нибудь для хозяйства купила. Вот и все; а в стихах не она была, а другая. В стихах была та, которой не было на свете. Посвящение — это только так... потому и хорошо, что не похоже. "Мужайтесь, о други, боритесь прилежно, пусть бой и не равен, борьба безнадежна": такие слова можно сблизить, соединить только ритмом, рифмой, иначе получится бессмыслица. Стихи пророчат конец света, а свет стоит как ни в чем не бывало, и сам Поэт живет, принц, бог, баловень, от баб отбою нет, Италия, наследство... У первобытных племен какой-нибудь прорицатель, заклинатель дождя соврал — голову делой; а Поэт — пророк, прекрасное слово, для языка подарок, — и рок, и срок, и порок. "Из сердца кровь струится", — да, расстрел литургический и ритуальный, как в опере тенор с свинцом в груди поет полчаса под ор-



кастр, вместо того, чтобы умереть немедленно после выстрела. В стихах идет поэтический дождь, из-под которого выходишь сухим... Аспирант любил стихи, запоминал их на слух с первого раза; когда он их слышал или сам читал громко и певуче, куда-то проваливалось все привычное и честно-тяжеловесное — экзамены, скука, быт, все дела понедельника и остальных будней: стихи были воскресенье.

У себя в комнате он открыл окно настежь и сел к столу — поработать над своей диссертацией о старухином Поэте. За окном темно, был последний день первой недели августа, белым ночам давно пришел конец; к исходу ночи он задремал на диване, прикрывшись плащом. Вдруг в тишине заскрипела дверь, он вздрогнул, открыл глаза, — в узкую щель вдоль темный тряпичный ворох, встряхнулся, превратился в старуху; он смотрел снизу, и она показалась ему большой. Он приподнялся, отбросил плащ; от лифта всегда шум, а в этот раз он ничего не слышал, — не ногами же она на восьмой этаж? В ее-то годы...

— О, мы не то, что вы, — сказала старуха, отвечая на его мысль, — мы в Озерки пешком, и в Шувалово, и под заветным окном до утра взад-вперед... Ну и клетушка! — она провлялась по комнате. — Потолки — головы не поднять, теснота... У нас было... — продолжая говорить, она встала лицом к окну; аспирант понял, что наконец-то началось воспоминание, которые он должен записать, и потихоньку вытащил ручку. Он видел ее спину и слышал обрывки: что-то о руках, она привыкла держать руки прижатыми к груди, потому что там хранились письма, и эта привычка была кстати, когда она дрожала от холода и другой дрожью; она разжимала руки только оставаясь одна, чтобы вынуть и развернуть письма — не перечитать, а взглянуть; листки желтели, протирались на сгибах и больше не шуршали, как следовало бумаге; она хранила их под одеждой на голом теле — на грязном теле, потому что спала не раздеваясь, и в баню не ходила, чтобы не оставлять письма вместе с одеждой. А когда появилась у нее своя горячая вода, она не захотела мыться, чтобы не осквернить свою кожу, которая пропиталась словами, буквами, написан-

ними Его рукой. Она выходила на улицу, ради собачки, до света и поздним вечером: в темноте улица казалась не такой новой; дойдя до угла, она поднимала голову и смотрела на окна, иногда спускалась в аптеку, а потом спешила вернуться, захлопнуть дверь за собой, и перестала открывать окно, чтобы не пускать к себе чужие звуки, чужой воздух.

Аспирант не мог проснуться и понял, что этот сон придется досмотреть до конца; он терпеливо ждал, вдруг она обернулась, он узнал старинную фотографию: актриса, возлюбленная великого Поэта, в грубом величии оперного наряда, — это был сон, и во сне он потерял голову, вскочил с дивана, упал на колени и прижался губами к ее руке.

— Обычная переняли, — сказала она, — наши манеры, нашего бега, наши юбки с воланами... Обезьяны. Наши стихи твердые: попугаи. В смертном сне такое приснится — кости со стыда сгорят. Думаешь, тень перед тобой, метафора? Это ты тень, ты условность, думу — рассыпешься, — прочь из соловьиного сада! Я тебя лишаю наследства!

Аспирант сложил руки, сполз задом на пол и, подняв вверх лицо, спросил с мольбой:

— Но вы пришли, пришли?..

— Поневеле, — хихикнула она, снова превращаясь в старуху. — Розы, розы хороши...

Назавтра он узнал, что старуха умерла; все автографы исчезли.

## К А Н И К У Л И

Нынче мало монахов; их было бы больше, если, не требуя вперед обета, позволяли бы испробовать монашескую жизнь. Один старый аббат приглашал к себе мирян, — впрочем, он не то что бы желал умножить число подвластных душ в своем маленьком монастыре: просто ему нравилось видеть новые, молодые лица. Приезжие селились в свободных кельях, ели за одним столом с монахами; один из братьев по утрам обучал их медитации, другой читал лекции, нечто вроде введения в благородный идеализм; сверх того старый аббат с радостью обучал бы их пению, — но монастырский хор он школил годами, а гости уезжали через месяц, неделю, чтобы возвратиться к обычным своим делам. Они ничего не платили аббатству, их только просили поработать в саду час-другой, и то не обязательно. Раз в неделю их собирал молодой проповедник, оратор вдохновенный и грозный: монахи дали ему кличку "долбильщик" и "стрелы и колющие". Его прочли в преемники аббата; со дня на день он должен был принести монашеский обет.

Гости жили вольно, — ради них передвинули с пяти часов утра на семь раннюю службу, а если кто опаздывал, его не упрекали и не расспрашивали. Для них не было запретов — кроме одного: не осквернять тишины. Однажды молодые муж и жена шумно спорили и ссорились в своей келье, злоупотребляя философскими терминами, — аббат сделал им мягкий выговор. Они казались студентами, и месяц был миль, каникулы. Оба аккуратно приходили в начале службы, жена, ломая тело, вставала на колени, муж смотрел в сторону. Они положили грядки в огороде: молодой человек отщипывал травинку и недоуменно разглядывал сквозь очки, жена, согнувшись, дергала стебли с корнями. У молодого человека на шее висел фотоаппарат, он часто делал снимки, изгибаясь во все стороны: он был

словно без костей, длинный и вялый. На людях оба были молчаливы, ни с кем не сходились, и все решили: вот пара спесивых свособ. К концу первой недели их окружало уважение и неприязнь. Старый аббат опекал гостей и уговаривал коллегу-будущего преемника: "Видите, как мы хорошо! Гуляют по саду, слушают Палестрину, иной раз задумаются. Право, не так уж они плохи..." "Глупа, — отвечал тот, — посредственность. Ни хороши ни плохи, ни горячи ни холодны, а тупы, ленивы и бездарны во веки веков". "И легковёрны, — подхватывал аббат, — и сварливы, забывчивы, намузыкальны; и дети такими будут, и внуки, и сами они дети: шалят, ссозвохльзичают и плачут в углу, макавинные. А посмотрите, — старик любил итальянские слова, — вон как девочка старается, на коленки встала, ижениски не жалеет, землю пальчиками роет. Не надо, не суетитесь. Вы их распугаете, — помягче, ..." Иногда вскидывал голову, открывал рот, и тогда аббат говорил ласково: "Да-да, но пока еще вы должны мне повиноваться." И проповедник уходил, сжимая кулаки и шепча: "Балкие, дрянные души!"

Кое-кто из "временных монахов" приходил к аббату поговорить; эти встречи наедине не были исповедью и не были повинностью. У стены в трапезной стоял старинный разной ларь, туда бросали записку и к вечеру узнавали день и час доверительной беседы. Их признания, их вопросы часто бывали бессвязны, но старик не вибрировал в слова: наблюдал мимику, жесты; прикрыв глаза, вслушиваясь в интонации. Пестрое разнообразие душ сводилось к двум-трем видам: тот искал последней, гарантированной истины, этот хотел острых ощущений — жгущий, опасливый как кошка, лапой трогавший воду. Встречались грубияны: один парижанин объявил с порога: "Я не христианин!" "А кто же? Бог, атеист, магометанин?" "Нет, нет, никто, никогда, все имена загажены". "Но вашему отцу вы сын?... О, вот как, вы уж и сами отец, значит, и муж: вот сколько названий сразу! А ваше занятие?" "Свинг. Труба". Аббат встал и поклонился почтительно: "С вами дух святой, вы сын и отец: вы христианин, !" Он любил пошутить, а веровал надежно. Все небо было одна усталая, терпеливая,



нисходятельная улыбка, — и он улыбался в ответ.

Однажды утром аббат принял молодого мужа. Долговязый, узкоплечий, он развалился в кресле и тербля ремешок фотоаппарата, не умея начать разговор. Старик сказал: "Вы, наверно, фотографировали реку, сад? Как они хороши летом! Пусть бы не было никогда ни льда, ни снега, — но так бывает только в Италии." "Да нет, — нехотя отвечал гость, — я для работы." "Вы репортер?" "А художник? У меня были выставки, обо мне писали монографии!" "Нельзя ли взглянуть?" — попросил старик, снема заглядывать обиду. Молодой человек полез в карман и вынул книжечку; движением руки аббат пригласил коллегу, сидящего в углу, и вдвоем они склонились над страницами. Это были фотомонтажи — полихромные, на хорошей меловой бумаге: голова, растущая в паху, и на нее ноги; отрубленная рука, из которой не кровь струилась, а волосы, золотые, как у Боттичеллевой Венеры; закат, превращенный в язву на гниющей коже, — переливыв всех цветов, перламутр и черно-багровые пятна. Старика опечалила серия с музыкальными инструментами: смычок протыкал глаз дирижера, флейты торчали из зада. На последней странице была алая роза, над ней соловей: из клюва свисал отвратительный мокрый червь, с которого слюнь капала на раскрытые лепестки. Вледное лицо проповедника покрылось пятнами; аббат робко заметил: "Я не вижу подписей под... картинами. Вы их как-нибудь толкуете?" "Зачем?" "А меня мир. Пусть его объясняют другие". "Вы считаете себя пророком?" — спросил молодой философ. Художник пожал плечами. "Ну разумеется... Иначе бы я выбрал другое занятие. Святой отец, я хотел поговорить с вами о моей жене..."

Проповедник снова опустил глаза в книгу; художник продолжал: "Мы дождались каникул, обвенчались, все было прекрасно, поехали в свадебное путешествие — к вам, чтобы не так банально, и вдруг она говорит — не хочу, не буду." "Поссорились?" — мягко спросил аббат. "Да нет... Было все хорошо, мы с детства друг друга знаем. А теперь она хочет стать монахиней, постричься." "Было бы что стричь", —

улыбнулся аббат, а молодой проповедник сказал саркастически: "Обратитесь к врачу. Во флигеле по средам сексолог, по пятницам психопатолог." "Маркетанни, — худосюжи вяло махнул рукой, — она говорит: в нашем браке не будет онтологической достоверности. Так ее нигде нет, а за меня она вышла, должен же быть какой-то порядок! Вы бы на нее воздействовали..." "Быть может, минутная экзальтация, — сказал аббат, — а прежде такого не случалось?" "Да нет, мы с детства знакомы, не замечал..." Он ушел; старик с улыбкой сказал коллеге: "Не правда ли, как лестно для церкви воинствующей?"

Сам он более любил церковь торжествующую: ангелы играли на лютнях, серафимы на скрипках; великомученики дули в трубы, напругая щеки; органистом был архангел Михаил, он взмахивал в такт крылами, а Мария сладчайшая пела соло; и вот тишиссимо вступал хор блаженных душ. Среди них были Бах и Гендель, в в земной удел им досталась крошечная и душная, как бойня, полифония, они страдали и вопили, а теперь, в награду и навеки, пели светлые хоры итальянцев. По-ниже рья было чистилище: там обитали безголосые, лишенные слуха; ада же не было вовсе. Костры, дурацкие котлы, смешные крошечья, — их сочинили, чтобы пугать озорников. В келье у него стояла маленькая фисгармония, он музицировал, настраивая себя для беседы, и в тот вечер ушелся. Условленный час наступил, девушка остановилась на пороге, проповедник смотрел из угла, и оба слушали, как старик развивает тему, не обещающую скорого конца. Молодой человек нахмурился; старик оборвал фразу и обернулся, не снимая рук с клавиатуры; потом встал и пошел наотрачу девушке.

— В саду вишни поспели, — сказал он. — Будем собирать: две в рот, одну в корзину. Вы любите?

— Нет. Кисло. Вы мне напишете рекомендацию?

— Куда же именно?

— Все равно, в какой-нибудь аббатисе. Я знаю, можно и так, но это долго — ученичество, испытательный срок! Мне

дело нужно.

- А что вы хотите делать?

- Что нужно. Там скажут. Не все же есть, пить, разговаривать!

- Но то же самое делают и монахины.

- Нет. Все делают иначе, как пошло, а надо во имя. Все во имя: и есть, и спать, и работать.

- Абсолютная функциональность,- сказал философ из угла.

- Как здесь много едят,- вдруг сказала она брезгливо.

- Что ж, с хорошим пищеварением...

- Этой мерзости вовсе быть не должно. Книжки! Длинные, скользкие!

- А как же ваш муж?

- Он говорит, что боится насилловать мою свободную волю,- она фыркнула.

- Вы его обидели. Не жалко?

- Всех жалко,- а зачем они терпят? Вы напишете рекомендацию?

- Скажите, вы когда-нибудь кого-нибудь любили?

- В детстве. Кошку. Потом она меня исцарапала. Вы напишете, что я... ну, совсем не была замужем. А то надо к врачу ехать, просить свидетельство...

- В каждой женской обители свой гинеколог,- но вам зачем же? Пока вы не дали обета...

- А если потом?- спросила она с любопытством.

- Потом... вы бы покаяться, и Бог бы вас простил.

- Простил? Я бы на его месте не простила!

- За нарушение обета- смерть,- сказал проповедник, пойдя к ней.

- Боже мой, коллега! Такую маленькую, такую тонкую...

- Только-только я социальную модель нашла, а в этикетке- компромисс?!

- Нет такого монастыря,- сказал аббат.

- Так будет!

Они смотрели друг на друга, оба глубоко дышали, лица разгорелись, глаза сияли, голоса стали звучными:

- Мы будем вечно поститься.
- Мы будем спать на полу и не топить в кельях.
- Носить на голом теле перстяние фуфайки, самые кусачие. И наручники.

-Вериги,- поправил юноша,- вериги и власяницы для всех. И мы заставим их делать грязную работу, от которой они отказались!

- И стоять на коленях, пока не лопнут водяные мозоли, и будет вода и кровь, сперва каплями, потом струей.
- Бичевание,- восторженно сказал проповедник,- опытное постижение. Пора пустить кровь этой подлой секулярной плоти!

Дуэт был слаженный; о старике они забыли, и он сказал тихо и растерянню: - Дети, дети, что вы делаете!..

- И вечный обет молчания,- закончила девушка.

- Как, вы и с этим согласны, коллега?!

Тот покачал головой.

- Я думаю,- сказал он,- что функциональное слово можно оставить. Но пока оно будет, мне все будет мерещиться, что и оно- ложь...

Аббат встал.

- Поговорите вдвоем. У вас лучше получится.

Он вышел - и за дверь испугался и остановился, потому что понял свой тайный умысел и последнюю надежду. Он оглянувшись, осторожно и беззвучно повернул ключ, торчавший в замке, и на цыпочках пошел прочь по длинному коридору. Им не устоять: пускай спасутся вопреки самим себе! Согрелись, они остынут,- или согреются? Бить может, они придут к нему, виноватые и счастливые,- он притворится разгневанным, валожит на лица эпитимью; бедная, бедная девочка,- не будь он так стар, он бы сам... А этот злой мальчишка: творец создав его со стрелой и молнией, а он своевольничает! Аббат спустился в трапезную, там ужинали. После долгих постов он обычно впадал в умиление и слабость, радовался и плакал по пустякам, как ребенок,- зато потом с каким анкететом садился за праздничный стол! Они все уничто-



хат- плоды и мед, вино и масло, — а было время, когда в аббатстве жили раселые обжоры, вернее препоясанные пониже круглых животов, красноногие, они расписывали стены, сочиняли и горлачили мессы; ощутив он среди них, они оглушили бы его грубым хохотом, он почувствовал бы страх и попросил отпустить его и позволить умереть где-нибудь в уголке Сикстинской капеллы, — но в них было больше благодати, чем в этих голодных, тощих, злобных кошках и котах.

Была ночь, когда он возвращался к себе через сад, благоухающий розами. Он подкрался к двери, приложил ухо. Потом, затан дыхание, повернул ключ. Келья была пуста, постель не снята; ветерок из открытого окна сбросил со стола листок бумаги. У старика болела поясница, он не стал нагибаться. На подоконнике остался след мужского каблука. Аббат подошел к фисгармонии, перелистал ноты, вздохнул; и до утра утешал себя игрой.

---